

Эдуард Шнейдерман

СЛОВО И СЛАВА ПОЭТА

/О Рубцове и его стихах/

ВРУБАЯСЬ В РУБЦОВА...

Такое случается нередко, но по-настоящему поражает, только тогда, когда касается тебя самого. И ты задумываешься: как же это произошло, что твой друг и единомышленник, "сподвижник", как он говорил, вдруг оказывается с теми, кого он еще недавно считал противниками в литературе, кого называл "унылыми и сытыми "поэтическими" рылами".^{х)} Задумываешься, но всякие другие заботы мешают додумать факт до конца, и только встречая на страницах журналов подписанные им стихи, уже совсем чужие, испытываешь горечь. Он выпускает сборники, читая которые, ты окончательно убеждаешься, что пути ваши разошлись. Ну, что ж, такова жизнь, — говоришь ты себе, как будто эта расхожая фраза что-то может объяснить. А ведь он был тебе друг... Но внезапно он уходит навсегда — слишком рано, видимо не успев высказаться до конца. И тогда начинают чуть не ежегодно печатать его книги, и все начинают говорить о нем и вспоминать его — все громче, все восторженней... Случайно ты сталкиваешься на улице с вадим общим знакомым, и тот говорит тебе: "Что же это ты? Ведь вы так дружили! Твой долг — написать о нем воспоминания. Я помогу их пристроить", — а есть люди, и это один из них, которые и в 5-миллионном городе умудряются постоянно попадаться нам навстречу, как будто дело происходит в деревушке, хотя другие, с кем бы мы рады были встретиться, не попадают никогда, — но такова особенность 5-миллионного города, — и при каждой встрече он заводит разговор о твоём долге и упрекает тебя, — и вот наконец ты вяло соглашаешься попробовать и, грызя себя, что это будет выглядеть, точно ты пытаешься примазаться, все же берешься за перо, — но через двадцать лет много ли можешь припомнить?

х) Предисловие "От автора". (11.07.62) в машинописном сб.: Н. Рубцов. Волны и скалы. Л., 1962; ссылки на этот сборник в дальнейшем даются сокращенно: ВИС.

.. — ни ваши многочасовые диалоги, ни его монологи в памяти не восстанавливаются, а ведь сколько было переговорено! — но что-то, конечно, припоминается, какие-то фрагменты, черточки и детали, и ты записываешь их, но видишь, что своего знакомого не порадуешь, поскольку все это не ~~пришпилив~~ подольет масла в огонь — и без того ярко пылающей посмертной славы. А бросить жаль, — тебя уже захватывает, — и ты продолжаешь — теперь уже для себя, — но словно бы и для него тоже, помня, как вы раньше, бывало, говорили о стихах — дотошно, досконально, вкредливо, всегда — начистоту, — и тебе уже необходимо выговорить все, что накопилось за эти годы, тема накрывает тебя с головой, ты убеждаешься, что одними воспоминаниями здесь не отделаться, что должен будешь пройти и понять весь его путь, от самого начала и до конца, ты вглядываешься в его стихи, потом во все написанное о нем. И вот что-то начинает проясняться.

1. ВСЕ, ЧТО ПОМНЮ О НИКОЛАЕ РУБЦОВЕ.

Начать мне следует с рассказа о событии, предшествовавшем нашему знакомству, предопределившем его.

24 февраля 1960 года в Малом зале ДК им. А.М. Горького состоялся городской турнир поэтов — происшествие необычайное, ни до, ни после этого не случавшееся.

Зал был переполнен. Читали нескрлько десятков поэтов, каждый — по два стихотворения. Очень жалею, что сразу не записал фамилии всех участников. Запомнились Г. Горбовский, А. Кушнер, В. Соснора, Р. Вдовина, О. Тарутин, Э. Кучинский, М. Шпитальный, Я. Гордин, И. Бродский, А. Морев. Первых трех жюри признало победителями и они получили в награду книжки.

Турнир был уникален и в том отношении, что происходил без предварительной цензуры. Выступить мог каждый желающий, — надо было лишь записаться перед началом у устроителей. Но за это и поплатились как организаторы — выговорами, так и двое участников — запрещением сроком на два года выступать публично. А как раз они — Бродский и Морев — произвели на меня наиболее сильное впечатление. Бродского, читавшего "Пылирримов" и "Еврейское кладбище", обвинили в национализме ("сионизме" в современной терминологии), Морева — "Есенинское" и "Рыбий глаз" — в порнографии. Если в стихах Морева, которые многим, да, признаться, и мне показались по тем пуритским временам слишком откровенными, как-то неудобно откровенными, я оценил прежде всего смелость, и только потом разглядел моревски смелую чистоту, то у Бродского — этого приклеенного ему "изма" ни тогда не заметил, ни сейчас, хоть убей, не вижу. Еврейское кладбище в Ленинграде — оно действительно существует, и там действительно "лежат рядом торговцы, музыканты, революционеры". И в самом деле, они "не селили хлеба. Никогда не селили хлеба", потому что законами Российской империи им было запрещено заниматься хлебопашеством, но — "сами ложились в холодную землю, как зерна, и навек засыпали". Нет в этом стихотворении ничего "этогого", — есть в нем только глубокая правда и щемящая человеческая печаль.

Рубцов, так же как и я, находился в тот вечер в зрительном зале. А встреча наша произошла в следующую среду, 3-го марта, около семи часов вечера, когда мы оказались сидящими рядом на монументальном сооружении сталинских времен — потертом дерматиновом диванчике в фойе того же ДК в ожидании начала занятия функционировавшего там литобъединения "Нарвская застава".

Разговорились. Прежде всего, конечно, о турнире. Оказалось, что обоим запомнились, понравились одни и те же поэты; что оба как раз ищем подходящее ЛИТО, и "Нарвская застава", где устраивают такие турниры, обоим приглянулась. Обнаружилось и нечто общее в наших судьбах: оба недавно демобилизовались, — он — с Северного флота, я — из сухопутных войск; оба — заводские работяги: он — кочегарит на Кировском, я — фрезерую на Станков-автоматов; оба, разумеется, пишем стихи. Так что точек соприкосновения для сближения нашлось предостаточно.

И вот мы стали регулярно посещать ЛИТО. Руководителем его тогда состоял Николай Кутов, третьеразрядный поэт, мало что (или совсем ничего не) дававший начинающим, и полностью изгладившийся из памяти — ни мысли, ни фразы, ни хотя бы внешности, — только фамилию и помню. Вскоре его сменила Наталья Иосифовна Грудина, женщина энергичная, резковатая в оценках, прямая. Занятия пошли значительно живее.

Поначалу Рубцова восприняли настороженно. Ребята у нас подобрались горячие, критиковали "по большому счету", т.е. "били в зубы прямо и под дых". Оба оппонента, — заранее подготовившиеся, высказывались столь резко, точно стихи сплошь состояли из ошибок и дефектов. Меня как кипятком обожгло несправедливостью оценок, и, несмотря на абсолютное неумение выступить экспромтом, я взял слово. Говорил довольно долго, построчно разбирал стихи, тыча в яремные строки, свежие образы. Говорил о наличии у Рубцова собственного голоса, об оригинальности стихов, их простоте и цельности, о ценности присутствующего в них юмора. Читал он тогда "Желание", "Я забыл, как лошадь запрягают...", "Есенину", — последнее не помню. Выступавшие следом также высказались за

стихи. И.И.Грудина, подводя итоги обсуждения, в общем одобрила стихи и сказала, что если автор будет упорно работать, он как поэт "состоится".

Стихи Рубцова обсуждались в ЛИТО еще дважды и теперь уже принимались в целом положительно.

Всякий раз после окончания занятий мы отправлялись вдвоем гулять по городу. Бродили обычно до глубокой ночи, говорили, спорили. И было о чем. Прежде всего, больше всего — и так всегда на протяжении нашего знакомства — о стихах. О тогдашних "молодых" — Горбевском, Бродском, Мареке, Сосноре, Кушнере. Особенно часто — о первых двух. В то время они входили в силу и, одновременно, в моду, всеми переписывались, перепечатывались.

Память у Рубцова была цепкая — он быстро запоминал стихи наизусть, что помогало нам при разборе. Если стихотворение ему нравилось, то застревало в сознании, беспокоило, мучило, и он во что бы то ни стало должен был его разобрать — построчно, пословно, до мельчайших оттенков и связей.

Из Бродского особенно любил "Стихи под эпитафией", "Стансы" ("Ни креста, ни погоста..."), "Пилигримов", что-то еще. Помню, как-то взялся за "Славу", которую в общем ценил. Первые строки — "Над утлой мглой столь кратких поколений, / пришедших в мир, как посетивших мир..." — его восхищали, но последующие —

нет ничего достойней сожаленья,
чем свет несвоевременных мерил —

он критиковал за недостаточно крепкие рифмы, недоумевал, почему — "свет... мерил", хотя напрашивалось, да и точнее казалось — "светил". И дальше — почему свет "катится, как розовый транзит"? (на "транзит" он был согласен); почему "ее (т.е. России) полуовальные портреты", а не просто овалы, и т.д. Восторгал его эпитет "утлый" — "над утлой мглой", "снежная Россия поднимает свой утлый дым...", но особенно нравился финал:

Прости меня, поэта, человека,
о-кроткий бог убожества всего,
как грешника или как сына века,
всего верней, как пасынка его.

Я не пытаюсь воспроизвести многочасовые беседы двух людей, только-только врубавшихся в окружающую поэзию, но тот факт, что Рубцов готов был без устали анализировать одно стихотворение, одну строку, доказывал серьезность его намерений, а острый интерес к тому, что происходило в поэзии свидетельствовал о внутреннем настрое отнюдь не на традиционный лад.

Часто возвращался и к стихам Горбовского, таким как "Навеселе, ма дивном веселе...", "Кто бы видел, как мы с ней прощались..." или "В саду цветы полузавяли...", внедрялся в их глубину, стремился понять их секрет, и, певторя, как бы пробуя строки на язык, на зуб, сживался с ними, и они растворялись в нем, а потом через годы внезапно отъивались в его собственных. Но об этом речь впереди.

Восхищала его и впрямь колдовская — и ритмически, и звуково — строка Светланы Евсеевой "тишина на паволочке" — лучшая строчка ее первого сборника.

С Горбовским он вскоре познакомился, стал часто бывать у него на Пушкинской. Напряженно слушал и вслух хвалил стихи Глеба, которые тот охотно и помногу читал. И остро обижался на то, что Глеб совсем не интересуется его, кодыными стихами — "никогда, — не раз жаловался мне, — никогда сам не попросит почитать!"

С Бродским сойтись не пришлось, хотя Рубцов страстно этого желал. Как-то мы пришли на поэтический вечер в ДК. Первой пятилетки. В зале был Бродский (выступать ему тогда, после турнира, не разрешалось). После окончания, когда большая часть зрителей разошлась, человек-двадцать окружили Бродского в маленькой гостинной и упросили почитать. От волнения сильно заикаясь, но все равно ярко, выразительно он прочел несколько вещей. Кто-то предложил, чтобы выступили и другие. Но было уже поздно, уборщица возмутилась, и все двинулось к выходу. Визу, в гардеробе мы подошли к

Бродскому, и Рубцов сказал ему, что мы очень ценим его стихи и хотим с ним встретиться и поговорить. Тот дал телефон. Но почему-то продолжения знакомства не последовало.

Во время наших совместных блужданий по улицам мы, разумеется, много говорили и о своих стихах. Прочтет он что-нибудь новое, только что написанное, еще не-отстоявшееся, и тут же требует детального разбора, сам укажет то место или слово, которое еще не нашлось и мучит его, и требует, чтобы я высказался на этот счет. И вот ходим, поворачиваем это слово так и этак, рассматриваем со всех сторон, пробуем заменить.

Помню, в "Оттепели" его беспокоила, а мне и вовсе не нравилась первая строчка — "Затученное, с прозеленью небо...", — это казалось нарочитым, неуклюжим, хотя по смыслу все было правильно. Он не раз к ней возвращался, предлагал множество вариантов. Но лучшего не придумывалось. Много позже, в сб. "Зеленые цветы" (М., 1971) я нашел первое слово исправленным на "нахмуренное" — общеупотребительное, стертое. Значит, все же лучшего варианта не нашел.

Столь же скрупулезному анализу подвергались и мои стихи. Зацепил как-то где-то у меня глагол "кушать". Слишком мягкое, говорит, сытое слово, он его не любит и никогда не употребляет, лучше говорить: "есть" — короче, четче, злее. А то, бывало, ходим, обсуждаем — какой-то образ, поворот. Расстанемся, так и не придя к согласию. Вернусь домой, как вдруг, полночь — телефонный звонок. Это, конечно, Коля, которому необходимо срочно сообщить, что — дошло, понял, принял...

А уж если ему приспичит повидаться — чаще всего затем же: наистоту поговорить о стихах, — он сумеет достать меня хоть и не под землей. То зайвится к тетушке, где я восседаю за семейным столом, вкушая воскресный обед. То спозвара-нок нагрянет ко мне на работу — на Обводный, где я тогда служил складским грузчиком, — требуя немедленно уделить ему два часа. Приходилось отпрашиваться ("Друг приехал!" — на что мой начальник, старший капитан, большой любитель возлияний, понимающе подмигивал и — отпускал), и мы отправля-

лись. "выяснить отношения" в ближайшую столовую, что и по-
сейчас функционирует на углу Загородного и Дзержинского.

Осенью любимым бывать в "Старой Голландии". Нередко
заходили и в Собачий садик (возле Михайловского замка).
В ту пору там гнездились соловей — теперь это кажется прос-
то невероятным. Бывало — заберемся в кучу палой листвы, от-
купорим припасенную "маленькую" перцовку (осеннее вино) и,
попивая из купленных в аптеке мензурек это полузабытое ны-
не антипростудное зелье, читаем под соловьиные трели сти-
хи, говорим и спорим о стихах.

Эти разговоры об одной строчке или другой частице сти-
ха порой бывали манурительны для нас обоих. Ведь случалось
и так: вроде бы все решим, обо всем договоримся, согласим-
ся друг с другом, на том и распрацаемся, а встретимся сно-
ва — и оказывается, что какие-то корешки сомнений у него
остались и за это время подрасли, и опять он заводит о том
же. Порой это меня бесило. Только потом понял, что так и
надо — не успокаиваться, не заглушать сомнений. Никогда с
тех пор им с ним я так досконально, до физической усталос-
ти о стихах не говорил.

Стихи стали для него в эти годы главной заботой в жив-
ни. Никаких праздных разговоров, никакого общего трена, —
всегда о стихах и только о них, так что в итоге нашего зна-
комства я лишь в самых общих чертах узнал о его прошлом,
о семье.

Общались мы не только на улицах. Часто собирались у
меня. Читали друг другу стихи — очень разных, каждый сво-
их любимых поэтов, а также тех, в ком была потребность
разобраться. Я — чаще всего — Пастернака, Цветаеву, Туви-
ма (и стихи, и — неоднократно — замечательную поэму "Бал-
в-опере" в переводе Музы Павловой); кроме того, Хлебнико-
ва, Каменского, Крученых, из современников — Сельвинского
(раннего), Кирсанова, Ю. Мориц, Вознесенского, Александра
Коренева (московский поэт военного поколения, в "обойму"
не попавший; хотел было написать "талантливый", но лучше
все же сказать конкретней: это поэт, обладающий редким
свойством — он живой и естественный, не терпящий ни смысло-
вого стереотипа, ни статичности стиха, ни ритмической моно-

тожности). Коля читал Есенина, Павла Васильева, из которого открыл мне "Христовославские сны" с великолепными строками:

Четверосрогие, как вымя,
Торчком,
С глазами кровавыми,
По-песьему разнужь рты —
В горячечном, в горчичном дме
Стояли поздние цветы.

Могу уточнить. 5 декабря 1960 г. я — Пастернака, Каменского и Ю. Мориц, он — П. Васильева. На Пастернаке всегда сходились. Мориц изучали как яркую и несколько загадочную — современницу. И, хватаясь за книги В. Каменского и П. Васильева, яростно спорили, кто из них сильнее, подлиннее. (Предвижу: тот факт, что футуристу он предпочитал "крестьянина", с радостью возьмут на вооружение дружественные Рубцову критики). В другой раз, в новогоднюю ночь на 1961-й, кроме своих новых вещей, прочли целую книжку Алексея Крученых, — о нем не спорили, обоим он был интересен. (Этот факт критики, разумеется, на вооружение не возьмут. Но — что было, то было).

.. У него — в общежитии на Севастопольской — я бывал нечасто. Обстановка там мало подходила для поэтических бесед: в комнате на четверых, где он обитал, — постоянные возлияния, всегда накурено, затхло, вечно некто пьяный, в одежде и сапогах, грозно хрюкая, дремлет на койке. Он эту бодягу ненавидел люто.

За неизменным столом и углом сочинял, как редко кто в наше время, в ходьбе, на улице. Обладая прекрасной памятью, — ни когда не записывал стихотворение, прежде чем оно окончательно не созреет в голове. Ни записных книжек, ни черновиков никогда я у него не видел.

.. Театры, концерты, музеи может быть он и посещал, — не знаю, ни о впечатлениях, ни о самом факте посещений никогда от него не слышал. Что он читал? Ни одной прозаической книги у него в руках не помню. Стихи, только одни стихи.

Но и в поэзии его интересы были широки. Справедливо писал С. Викулов: "...как мог на этой скудной, в смысле культуры, почве, на невспаханном поле... взреть такой удивительный голос, каким предстает сейчас перед нами его поэзия" (вступ. ст. в кн.: Н. Рубцов. Избранное, М., 1982, с. 3).

Он постоянно носил с собой какой-либо томик стихов, подолгу с ним не расставаясь, не просто читая — тщательно изучая. Это были поочередно Тютчев, Фет, Бородинский, Надсон (последнее меня чрезвычайно удивляло) — все в издании Малой серии "Библиотеки поэта"; "Избранное" П. Васильева; долгое время ходил с "Избранными произведениями" Есенина (Ленинград, 1957).

С этой книгой связан забавный эпизод. Как-то в Ленинградский День поэзии мы пошли по Невскому, по книжным магазинам. Заходим в "Дом книги". У Лиси — толпа: читателей и поэтов. Вдруг видим: за прилавок встает Михаил Светлов. Объявляет, что сейчас, в 1945-й раз (разумеется, в шутку, конечно он считал) прочтет "Гренаду". Но память, — говорит, — плохая, боюсь сбиться. И — прочел по бумажке, — вернее, рассказал своим уютным домашним голосом. — А потом стал подписывать желающим "Дни поэзии" со своими стихами. К нему вырастает длинная очередь. Отходят все улыбаясь. Видно, каждому пишет что-то хорошее. И с каждым — несколькими словами перекимается. Очень захотелось, чтобы Светлов и нам что-нибудь написал. А денег на "День поэзии" нет. Но Коля не растерялся. У него подмышкой был этот самый сборник Есенина. Он и встал в хвост. Светлов не удивился ни сколько, что — Есенин, спросил у Коли имя и фамилию и сходку на титульном листе написал: "Мы с Николаем Рубцовым очень любим Сергея Есенина". Простенько, но со вкусом.

В те годы, не в пример этим, поэзия нужна была всем, и устраивалось множество публичных чтений. Начиная с весны 61-го стали постоянно выступать и мы — на вечерах различных ЛЕТО, в домах культуры, институтских общежитиях, библиотеках, НИИ, поэтических кафе (на Полтавской и в "Буратино", где теперь взамен этого закатывают свадьбы на сто-персон). Чаще всего он читал "В океане", "Гавлад", "Левитана",

"Видела в долине", "Я забыл, как лошадь запрягают...", "Элегию" ("Стукнул по карману — не звенит...") с видоизмененной по цензурным соображениям 3-й строкой, "Утро перед экзаменом". Читал с оттенком угрюмости, неторопливо, отчетливо произнося каждое слово, точно вбивая его, взмахивая при этом рукой; юмористические вещи — чрезвычайно серьезно, что, разумеется, усиливало комический эффект. Публике сидим его, как правило, нравились, в особенности "Утро перед экзаменом" и "Разлад", слушая которые, зрители обычно хохотали в голос. И нередко просили прочесть на бис.

Осенью 1960 года мы, несколько филфаковских вечерников, "что б в быту не закисло", затеяли журнал. Назвали его "Оптимизм", что расшифровывалось двояко: "оптимистические мастера". И — такова была карта плущей машинки, на которой журнал печатался. Начали в середине сентября. Через месяц первый номер был готов. Решили привлечь авторов и со стороны. Я предложил Рубцову, он согласился, участвовал в обсуждении второго номера и дал туда стихи. Опубликовано было 7 стихотворений — "Я забыл, как лошадь запрягают...", "Разлад", "Утро перед экзаменом", "Хоть волки есть на волеке...", "Левитан", "Наром", "Как на дугало, на старость...". Для последнего, 5-го номера, вышедшего в конце 1962 года, прислал 5 стихотворений уже из Москвы — "На берегу", "Фиалки", "На родные", "В океане", "Оттепель" (написаны все они были еще в Ленинграде). х)

В конце 1964 г. Рубцова пригласили в центральное ЛИТО при МО Союза писателей. За выступления что-то платили. Кажется, тогда же поступил в вечернюю школу. Весной 62-го сдал

х) В кн. "Воспоминания о Рубцове", Архангельск, 1983, 320 с. (я прочел ее, когда моя работа была уже донесена, поэтому упоминаю о ней лишь кратко, в сносках) на с. 301-302 опубликовано письмо Рубцова ко мне (не датированное и без каких-либо комментариев; где оно хранится, не знаю), в котором он спрашивает об "Оптиме" ("А когда выходит "Оптимизм"?") и предлагает свои стихи для 5-го номера. Письмо это относится к октябрю 1962 г.

экзамены за 10-й класс и стал думать, куда податься дальше. Я советовался на вечернее отделение филфака ЛГУ, однако он решил сперва попробовать в Литинститут. В июне занялся составлением сборника "Волны и скалы". Судьба этого сборника, отпечатанного на машинке в 6 экземплярах аккуратным Борисом Тайгидым, декоративна: вероятно, это единственное такого рода издание послевоенного времени, спокойно, без малейшего осуждения упоминаемое в нашей официальной критике (В. Кожин, В. Оботуров и др.). К середине июля сборник был напечатан и послан на конкурс в Литинститут. К августу Рубцов уехал в Москву, сдал экзамены и был принят. Он писал мне (письмо от 21.09.62):

"Эдик, привет, привет!

Только что вернулся в Москву из колхоза, где мы работали на картошке. Деревня нам досталась очень подлая. Без одной гармошки, без магазина, без самогонки, без девок... Дожди лили беспрерывно и дул сильный ветер...

Живу я в комнате с одним дагестанским поэтом. До сих пор не могу заучить его фамилию и имя. Что-то такое туземное.

Занятий еще не видел, ни разу на них еще не был. Буду заниматься в семинаре у Сидоренко..."

В первые годы жизни в Москве он продолжал чувствовать себя ленинградцем, часто приезжал. Так, в начале 62-го разбудил меня около семи утра, заявившись прямо с поезда. Два дня мы провели вместе — читали друг другу новое, куда-то ходили, с кем-то встречались. Он жаловался, что почти ничего не имеет, что в общекммунальном пьют отменяя "модерный месяц". Не самой Москвой, но жизнью своей там был доволен — после трехдневки на пикете занимался сдвигами этиками, получать стипендию, "гудеть"...

В конце декабря появился снова, и Новый год мы встречали в большой компании в мастерской художника на Невском. Был здесь и Саша Морев. Оба читали собравшимся свои стихи.

19 января 1963 г. приехал в Москву я — повидаться с Рубцовым, а также побывать на только что открывшейся выставке "30 лет МОСХ" (через несколько дней она была разру-

гана Хрущевым, благодаря чему приобрела всеобщий интерес и всероссийскую, даже всемирную известность).

Прихожу в литинститутское общежитие — и не могу найти Рубцова. "Коля — в подвале, — сообщает какой-то парень, оказавшийся его соседом, — в бильярдной". Сбежал, передал, что я приехал, возвращается. "Сейчас, — говорит, — придет, только сыграет в честь твоего приезда на бутылку коньяка".

Вид комнаты меня поразил: на столе, на полу — хлебные корки, скурки, всюду грязь, постели торчком.

Вскоре появился Рубцов, победно неся выигрыш. Прежде я не знал за ним столь блестящих бильярдных способностей.

Постепенно обзавелась компания поэтов-младшекурсников. Они принялись читать свои стихи, потом заспорили о них. Особенно рьяно — Рубцов с Павлом Мелехиным. Но совсем не так, как мы в Ленинграде, — зло, по-петушиному, налетая друг на друга, до крика, до хрипоты, стремясь каждый доказать, что он как поэт значительней. Чувствовалось, что распря началась не сегодня. Потом сцепились, и мы принялись их растаскивать по разным углам...

На утро зашли зачем-то к Аде Т. — Я отворил дверь — и глаза заболели от белизны, подметенности, проветренности, домашности. Такой в этой общаге был контраст...

В следующий раз Рубцов приехал в Ленинград весной 1964 года. Оттепель, всюду лужи, а Коля — в валенках. Помню, тот правились в угловой гастроном, и он — в черном пальто до пят, в удлиннном узком шарфе, который столь часто упоминается мемуаристами, что мне здесь и добавить нечего, — скачет через лужи.

Затем появился у меня летом 65-го, вместе с другим институтским поэтом, фамилии которого не помню, ленинградцем, огненно рыжим. Тот прочел, по заказу Коли, стихотворение про колхозного петуха, который, взлетав на плетень, воскликнул ликуя: "Кукуруза!" в знак одобрения хрущевской сельскохозяйственной программы. Видно было, что автор очень гордится своим произведением, очевидно и впрямь лучшим из всего им написанного, и постоянно его декламирует. Больше Коля не то, что не просил, — просто не позволял ему ничего своего.

читать, предупредив нас, что остальное неинтересно, — обращался с ним полупрезрительно, свысока, — зло подшучивая, отчитывал его, что он не то сказал, не так прореагировал, а тот, бедняга, мало того, что все это терпеливо спросил, — еще и распылился о громадном коллином таланте. Рубцова и это сердило, он обрывал славословия приятеля, но тот опять принимался за свое.... Сам же Рубцов читал новое, читал много и с большой охотой. Но весь вечер был взвинчен, заносчив, подозрителен, — обижался на шутки, какие раньше понял бы и — поддержал, несколько раз обиделся по пустякам, так что приходилось ему разъяснять, что ничего обидного лично для него сказано не было. И все это было мне неприятно, стал он совсем чужой и откровенничать с ним не хотелось. И никаких серьезных, никаких глубоких, никаких прежних наших разговоров на сей раз не получалось.

Эта наша с ним встреча оказалась последней. Без шумной размолвки, без никакого скандала, — просто мы оба почувствовали, что наши пути разошлись, и — навсегда расстались.

II. ЗАМЕТКИ О СТИХАХ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

Недлинный путь был отпущен Николаю Рубцову, чтобы успеть выразить себя в слове. Все его творчество — от первого известного сейчас стихотворения и до преждевременной смерти поэта — укладывается в восемнадцать лет. Оно четко делится на три периода: ранний — 1953-1959, ленинградский — конец 1959-1962 и последний, московско-вологодский — 1963-1971. Стихи, написанные в пределах одного периода, образуют — отмечу пока в общем — определенную, весьма цельную систему. Рассмотрим каждый период подробнее.

1. ЮНОШЕСКИЕ СТИХИ. 1953-1959

Я насчитал 35 стихотворений, относящихся к этому периоду. (Думаю, что просмотр газеты "На страже Заполярья" за 1957-1959 гг., до которой я не добрался, увеличит это число). Уже в самых ранних — "Деревенские ночи" (1953), "Да, умру я!" (1954) и "Первый снег" (1955) видно неплохое владение поэтическими средствами; уже здесь пробивается кое-что рубцовское. В первом надо отметить завершенность целого и довольно редкий размер ("Ветер под окошками, тихий, как мечтание..."), — восходящий к есенинским "Выткался над озером... алый цвет зари..." и "Матушка в купальницу по лесу ходила..."; но с более сложной — дактилической — рифмовкой.

"Да, умру я!", в общем напоминающее бесконечную вереницу юношеских, проникнутых беспросветным пессимизмом стихов, содержит в зародыше ту характерную для Рубцова угрюмость ("Может быть, гробовщик толковый смастерит мне корытчатый гроб..."), которая в полную силу проявит себя в его зрелом творчестве.

"Первый снег" тоже подражателен, но здесь выделяется увиденное своими глазами: "В деревне празднуют дождишки, И на гармонь летят снежинки".

Из остальных стихотворений этого лет 27 можно отнести ко времени службы на флоте. Они распадаются на две группы: написанное для себя, "для души" и — специально для печати. Первые — это 11 стихотворений, 8 из которых помечены авто-

ром: "1957, пос. Приютиню Ленинградской области", т.е. написаны во время отпуска, проведенного у младшего брата; остальные ("Хочешь, стих-сочиню сейчас?..", "Ты хорошая очень - знаю...", "После разлуки"), публикуемые без этой пометы, однако созданы, вероятно, тогда же.

В Приютиню поэта постигла любовная травма ("Забыла ли ты о друге? Вглянись же скорей! Все ясно... Три года тебе, подлюге, Письма не писал напрасно!"), и он, как говорится, "гудел". Вот маленький коллаж из тогдашних его стихов: "Мы брали в ларьке вино...", "Никак нельзя прожить без кабаков", "Сажу себе за грешным вермутом...", - и дошел до травмы физической: "...при фонарном свете / очнулся я в кювете / с поломанным ребром..." и до признания: "но как порою хочется / ножом... / куда-нибудь!"^{х)} Конечно же, тут вспоминается есенинское "Но я кого-нибудь зарезу Под осенний свист". В Приютиню писал он о березах, о собаках, но вовсе не писал о морской службе.

... Кое-какие из приютинских стихотворений Рубцов включил затем в свои ~~избранные~~ сборники. Из военно-морских, как это ни покажется парадоксальным, ни одно в дальнейшем не публиковал, хотя все они, повторяю, были написаны специально для печати и в годы службы напечатаны - в газете "На страже Заполярья", сборнике "На страже Родины любимой" (1958), альманахе "Полярное сияние" (1959). Но он знал, что делает, пожарив затем эти стихи, он знал им цену, - все они сплошь набиты пресловутой "суровой романтикой морских будней", т.е. набором соответствующих ходовых штампов. Вот сколько их, например, в "Отпускном" (1958): "До свиданья, Север! До свиданья, Край снегов и славы боевой!", "С путеводным светом маяков", "И с законной гордостью во взоре Вспомнив схватили

х) Цитирую по ВИС. В кн.: В. Кожин. Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта. М., "Советская Россия", 1976, с. 36. - концовка несколько иная, более определенная: "кого-нибудь!"

В дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно: В. Кожин.

в море штормовом" и, наконец, бравурный финал:

Нам охрану счастья доверяли

Наши сестры, --

матери,

отцы, --

словом, все здесь -- "как у людей", а Рубцова нет вовсе. Ибо писалось это из самоутверждения -- и мы, мол, не хуже других можем; да к тому же матросская получка невелика -- так почему бы и не подработать!... Но ощутившись после демобилизации в Ленинграде и хлебнув здесь настоящей поэзии, он нечисто стверг подобный способ зарабатывания денег и восхождения на Парнас, -- никогда не читал, -- никуда не "толкал"... эти стихи. А мог бы сделать на них карьеру. Делают ведь...

2. В ЛЕНИНГРАДЕ. 1959-1962

Все, что он написал до Ленинграда, точнее, до турнира -- это всего лишь более или менее удачные стихи начинающего, которые могут быть любопытны только исследователям и при поклонникам его творчества. Главное в них, что

Рубцову хотелось говорить,

Рубцову было что сказать,

Рубцов учился говорить.

Но необходим был мощный толчок, чтобы все столпившееся внутри обрело голос, выплеснулось наружу, в стихи. Таким толчком и оказался для него Турнир поэтов. Я придаю турниру решающее значение в формировании Рубцова. В тот вечер вся молодая ленинградская поэзия прошла перед ним, и он вдруг перазился, поняв, что она, поэзия -- это не один только -- Есенин. Он точно глотнул свежего воздуха, и так легко стало дышать. И вот в Ленинграде он не только не пишет ничего подобного своим "военно-морским" стихам, но и вообще ничего "на продажу". Турнир помог ему найти себя и заговорить своим голосом.

Машинописный сборник "Волны и скалы", собранный в самом конце ленинградского периода, явился итогом 10-летней

работы (оговорюсь: итогом не совсем полным. Сборник выиграл бы от включения таких вещей как "Воспоминание" ("Помню, луна смотрела в окно...", 1957), "Марина" ("Дышу натруженно, как помпа..."), "Не пришла", "Расплата", "На гуляние", а также исключения нескольких безделушек "Маленькие Лили", "Ты называешь солнце блюдом", "Твоя любимая уснула..." и морально устаревших для самого автора стихотворений "Поэт перед смертью..." и "Да, умру я!". Сборник составлялся без оглядки на конъюнктуру и "проходимость". Это самоотчет: вот таков я на сегодняшний день; вот то, что сейчас для меня особенно дорого. В ВИС вошло 38 стихотворений. Здесь много, целых 10 разделов (или циклов), считая "Вместо предисловия" и "Вместо послесловия".

Первый раздел, наиболее ценный и значительный, назван "Салют морю". Он состоит из восьми стихотворений. Впрочем, два из них, "Имениннику" и "Морские выходки", не имеют к другим никакого отношения, к тому же сделаны на гораздо более низком уровне. Остальные стихи — "трафлотские".

Кажется, обо всем уже все написано, а о море и подавно, и стоит лишь обмакнуть перо в морскую тематику, как оно потонет, захлебнется в тине банала. Но вдруг — а это происходит всегда вдруг! — является человек остро видящий, нешаблонно чувствующий, "полный свежей юношеской крови", по выражению самого же Рубцова, и поворачивает какую-либо неповоротливую тему новой, никому-неведомой стороной. Так сколько же "сторон" у любой, даже самой изъезженной, захватанной толпой конъюнктурщиков и бездарей темы, если и до нас, и теперь, и всегда — она способна открываться все новыми? Ровно столько, сколько истинных поэтов к ней прикоснется.

Как никогда прежде, Рубцов оказался здесь наедине с темой. Он все делает сам — без подсказки, без литературных нянек. В стихах цикла присутствует полнота жизнеощущения, объемность изображения. Главный герой — это сам автор. Оставим в покое "лирического героя", — "я" в стихах Рубцова, как правило, его собственное "я". 15-16-летним щенком он

ходили по нервной груди океана,
и нервы ныряли в волнах.
И долго,

и хитро,
... стремясь поживиться,
с кричащей, голодной тоской
летели большие

клювастые

птицы

за судном,

пропахшим треской!

"Рубка", "рында", "румп отравления", "тральщик трал-
флота треста "Севрыба"... — не слишком ли густо напыжено
здесь морских словечек?! Кажется, автор перебрал, стремясь
сходу доказать, что в морском деле собаку съел?! К тому же
он еще и "рычит": рн, ру, рн, ру... — в итоге 18 "р" на пер-
вые 8 строк, — норма перевыполнена в несколько раз!

Все это вместе взятое конечно же выражает щенячий вос-
торг принятого на борт юного неопита, который суется,
звонко и беспричинно лает, теряет голову и зарывается:

Подумаешь, рыба! Подумаешь, рубка!

Как всякий заправский матрос...

Но тут словами "я крипю ^{х)} ругался" включается автоирония,
ведь так ругался он, малец, пытаюсь походить на неко-
го "морского волка" из книжек. Автоирония разворачивается
далее в автошарж (также построенный на "морском" образе):

...хлюпал, как шлюпка,

сердитый простуженный нос.

Процесс "завихрения" продолжается на протяжении еще четырех
строк. И здесь я подчеркиваю короткое, замечательно емкое,
неожиданно тут серьезное и недаром стоящее отдельно слово —
здне.

Оно оказывается надежным мостом между двумя половинами сти-
хотворения, мостом, соединяющим два мира — внутренний, уз-
кий, щенячье-наивный, который весь как на ладони, и — огром-
ный, почти непостижимый внешний — мир океана.

х) Здесь и далее в цитатах подчеркнута мной.

... Вся вторая половина стихотворения представляет собой единую восьмистроичную фразу, где каждому слову сообщена мощная экспрессия, каждое — вздыбленно, бугристо. Инструментовка здесь такова, что звуки, точно морские валы, накатываются друг на друга ("буграми в багровых") либо движутся чередой ("нерпой ныряли в волнах").

И вот наступает концовка о чайках. О какие же "истинно-морские" стихи могут обойтись без них!.. Но рубцовские чайки — "клювастые", "с кричащей голедной тоской" — это не птички-галочки, это живые чайки во всей своей сути.

По добротности выделки, по оригинальности выражения ничего подобного этому стихотворению среди многочисленных его стихов о море у Рубцова никогда прежде не было. Все здесь в единой системе, каждое слово найдено, каждое — крупно, выпукло, осязаемо...

С трудом преодолеваю соблазн подвергнуть столь же подробному разбору другие стихи цикла — "Фиалки", "Я здесь в мазуте, весь в тавоте...", "На берегу" х). За неординарность, искренность и простоту я отношу их к числу наибольших удач Рубцова.

Быть простым, избегая при этом банальности, ох как не просто. Это должно быть в природе таланта. Такая простота есть в лучших стихах сборника. Просты темн. Он пишет о себе — о своем прошлом и настоящем, о любви (всегда — неразделенной), о деревне и городе. Но эти стихи не назовешь простоватыми, — в них своя сложность: эмоциональное и интонационное разнообразие, динамичность развития, построение на контрастах, конфликтах. В "Салите море" это конфликт — между романтическим и реальным восприятием жизни. Юношеский романтизм, — ведь так и должно было случиться при не легкой судьбе, выпавшей на долю автора, — разбивается о жестокую жизненную реальность. Пронзительно звучит мольба голодного о хлебе: "Кроме моря и неба, / кроме мокрого мала, / надо хлеба мне, хлеба!" ("Фиалки"). Герой поначалу

х) Это стихотворение при жизни автора не печаталось; опубликовано, под заглавием "Летел приказ. (Воспоминание)", — лишь однажды, в сб. "Подорожники" (М., 1976).

барахтается в бурном житейском море (да простится мне этот неоригинальный образ), но не идет ко дну, — он выплывает, отплывивается и отфыркивается, плывет, принимает жизнь. Принимает не с восторгом, т.к. своими боками ощущает ее острые углы.

Чувство слова было у Рубцова в крови, — самые заурядные, стертые слова он умеет наполнить жизнью. Казалось бы, нелегко извлечь поэтическую искру из такой безэмоциональной фразы: я сел в автобус. Рубцов в "Фиалках" пишет:

Сел я в белый автобус,
в белый, теплый, хороший, —
и в контексте стихотворения о мальчишке, который, неприятный на судно, ощутился один, голодный и бездомный, в чужом городе, — эти слова наполняются теплотой. ...

Рубцов умеет хорошо расставить слова. Они у него не торопятся, не суеются, они тщательно отобраны, прочно пригнаны друг к другу. Но ведь поэзия и есть искусство единственного правильного выбора и единственно возможной расстановки слов. В Ленинграде он ценит слова шершавые — разговорные, жаргонные, охотно вводит в стихи устные речевые обороты ("как все это погано", "назвала меня фруктом", "мать моя родная", "тянут слово из мужика" и т.д.). ...

Существенной частью работы над стихом становится забота о его звуковой организации. Рубцов добивается звукового единства фрагмента, а то и целого стихотворения. Примером мастерского построения всей вещи на одном или близких созвучиях могут служить стихотворения "На перевозе", "Левитан", "Старый конь", вошедшие в раздел "Звукописные миниатюры". Приведу последнее в редакции ВИС:

Хоть волки есть --
 на волоке
и волок тот
 полог,
едва он сани
 к Велогде
по волоку
 волок.

Все небо
звездным пологом
светилось.

А ему
казался волок
волоком
закутанным во тьму...

И вдруг заржал он
молодо,
гордась без похвалы,
когда увидел
Вологду
сквозь заволоку
мгли!

1960

Поэт словно бы мнет в руках кусок словесной глины: волки — волоке — волок — полóg — по волоку — волók — пологом — во-лок — волоком — молодó — Вологду — заволоку. От подобной "игры" стихотворение отнюдь не теряет в простоте, — наоборот, становится еще прозрачнее, еще цельнее.

Рубцов любит повозиться со словом, так и этак повернуть его, чтобы звуковые модуляции привели к появлению близких по звучанию, но иных по смыслу слов:

Не те что паром паровоз,
нас парой весел вез паром
("На перевозе")

паром — паре(воз) — парой — паром;
(паре)воз — нас — вес(ел) — вез —

великолепная — двойная — сцепка слов! (Поэт — "сцепщик слов", — образ А. Коренева).

Простота и прозрачность стиховой ткани порой приводят его стихи к песенности. Песенны по своей сути "Фиалки", "Жалобн алкоголика", "Старый конь". Встречается это качество и в ранних стихах, но там обычно слышны банальные интонации, звучит "жестокый" романс:

Все очнется в памяти невольно,
отзовется в сердце - и в крови.
Станет как-то радостно и больно,
будто кто-то шепчет о любви.

(*"Березн"*, 1957)

В Ленинграде банальности, штампы почти полностью были изжиты.

Существенным свойством ВИС является широкий эмоциональный диапазон - от драматизма (трагические ноты слышны, пожалуй, лишь в *"Поэте"*) до чистого юмора. В этом я вижу одно из доказательств некипности, первичности таланта Рубцова.

У иных (можно даже сказать: многих) поэтов существует чудовищный разрыв между тем, каковы они в жизни и каковы в творчестве. В повседневности это живой человек, естественно на все реагирующий, с подвижным настроением - то он грустен, то пребывает в тревоге, то улыбается, смеется, хохочет... Словом, никакие человеческие проявления ему не чужды. Но вот он очутился наедине с листом чистой бумаги - и от всего спектра чувств и настроений почти ничего не остается, - одна лишь, к примеру, элегическая грусть. Словно актер классического театра, он становится рабом своего ампула: обводит глаза черной тушью, прорисовывает морщины на лбу (не забыть бы вертикальную), - и только в таком виде выходит на сцену, то бишь берется за стих. И вот сквозь все его стихи проглядывает одно-единственное - скорбное выражение лица; разве что изредка он позволяет себе растянуть губы в печальной (либо горькой) усмешке. И не дай бог пылинке смеха запятнать черный фрак его стихотворения. Юмор для него - продукт дурного вкуса, низкий род, второй сорт литературы.

У Рубцова в ленинградский период все не так. В стихах он то угрюм, то элегичен, то весел. Юмор - об этом свидетельствуют ВИС - был одной из главных составных его таланта и проявлялся во множестве оттенков: то он престоюще-наивный; то крестьянский, с хитрицей, запрятанной между

дельной печалью", которая, впрочем, идет насмарку благодаря ст. 8 ("шалестеть остатками волос"). Юмористический эффект этой строки усугубляется при авторском чтении — залысины наглядно демонстрировали аудитории, что поэт ничуть не лукавит. В последней строфе понятия "память" и "молодость", соединившись с выражениями отнюдь не веселого свойства — "отбивается от рук" и "уходит из-под ног", воспринимаются как нечто осязаемое и приобретает шутливую несуразность. И даже последние две строки, неоспоримо грустные, если их рассматривать отдельно, звучат веселей, бодрее, чем в контексте всего стихотворения.

Это умение о предметах даже весьма печальных говорить неоднозначно, без уныния и нытья, не забывая и о юмористической точке зрения (умение, впоследствии совершенно утраченное им), являлось в Ленинграде одним из характерных свойств Рубцова, выделявших его среди других поэтов той поры. Ведь в те годы (как, впрочем, и в эти) юмора в нашей поэзии было не густо. Наиболее широк его диапазон (говоря о ленинградцах) у Сосноры, Уфлянда, монохромен он у Горбюшского (как правило, едкая усмешка), простодушно-сельский — у Кучинского, простодушно-городской — у Тарутина. Стихи же большинства ведущих поэтов тех лет — Аронзон, Бобышева, Бродского, Р. Мандельштама, Морева, Н. Королевой, Р. Вдовинной и др. — "чистого юмора лишены почти вовсе".

Еще о тематике сборника. Сельская тема здесь — одна из ведущих. Она представлена 14-ю стихотворениями (если приписать сюда приютинские стихи 1957 года). А такие из них как "Старый конь", "Видения в долине" (печатались под загл. "Видения на холме"), "Лесной хуторок" ("Добрый Флиа"), "Долина детства" относятся к наиболее характерным для Рубцова. Причем многие мотивы, зародившиеся в эти годы, поэт впоследствии продолжал разрабатывать, варьировал. Так, неоднократно он переписывал "Долину детства", содержащую формулировку привязанности автора к своей "малой" родине:

Но моя родимая земля
надо мной удерживает власть.
Память возвращается, как птица,
в то гнездо, в котором родилась.

И вокруг долины той любимой,
полной света вечных звезд Руси,
жизнь моя вращается незримо,
как земля вокруг своей оси!

Тема города присутствует во многих стихах ленинградского периода, прежде всего, в любовной лирике. У Рубцова нет любования красотами Петербурга, — город постоянно дан в ветре, в ненастье. Непогода служит аккомпанементом главной теме: "Погода какал!.. С ума сойдешь: / снег, ветер и дождь-зараза!" ("Ненастье"), "Странный свет, ядовитый, зеленый, холодный, Снег и снег..." ("Не пришла"), "и ходит холод ветренный и резкий..." ("Поэт").

В "Поэте", может быть лучшим стихотворении Рубцова, тема города, Петербурга стала центральной. Уже в экспозиции дана чистая петербургская обстановка: "трущобный двор", "и странный свет и грязные ступени", "и станы с четырех сторон". Это Петербург Достоевского. В стихах есть не только верность деталей, но и стремление передать дух города с его коммуналками и кипящей в них "странной" жизнью, — города, отложившего особый отпечаток на своих обитателей. Очень точно передана атмосфера тогдашней литературной жизни, высвечен едва зарождавшийся круг, из которого позже возникла "Лепта", а затем "Клуб-81".

Фигура главного героя — поэта — трагична ("он как матрос, которого темит / глухая жизнь в задворках и угаре...", "твоя освистанная лира"), но вполне естественна в этом городе, в этой обстановке. Указана причина трагичности — она в застенном, законном мире, откуда "удушьем тянет и ознобом". Геречь у автора вызвана неустроенностью таланта, его непризнанием; Рубцов глубоко сочувствует своему герою и среде, к которой он принадлежит. Да он и не отделяет себя от нее, — напротив, подчеркивает свою с ней неразрывность: "Но все равно опутан я всерьез / какой-то общей нервной системой..."

Но стихотворение было бы беспресветно мрачным, если бы не надежда ("твоя освистанная лира / еще свои поднимет паруса!"), даже уверенность в грядущих переменах ("Ура!... Опять ребята ворвались!..." и далее). Стихотворение написа-

но яростно, горячо, с внутренней болью.

В связи с "Поэтом" нельзя не вспомнить "Поэтов" Блока, которых Рубцов хорошо знал и высоко ценил, помнил наизусть и восхищался деталями. Но о каких-либо заимствованиях здесь говорить не приходится. Стихотворение Рубцова написано на живом, современном материале, пронизано непосредственным отношением к изображаемому.

"Поэт" датирован 9 июля 1962 г. Это последнее, созданное в Ленинграде стихотворение^{х)}, свидетельствовало о том, что Рубцов находится на подъеме и многого еще в поэзии добьется.

3. ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД

"КУДА МЕНЯ, БЕДНЯГУ, ЗАНЕСЛО!.."

Мне придется вернуться к разбору того стихотворения, о котором я только что довольно подробно говорил. Того, но уже совсем другого, хотя в нем большей частью те же строки и та же под ними дата. Но, то немногое, что в нем изменилось, до неузнаваемости, до полной противоположности искажило его суть. Речь идет о стихотворении "Поэт" и его второй версии — "В гостях". Приведу оба варианта, для наглядности в центре располагая строки, оставшиеся без изменений, а по краям — различия. "Поэта" даю по последнему известному мне варианту (авторская машинопись), полученному мною от автора из Москвы в октябре 1962 г.; "В гостях"^{хх)} — по кн.: Николай Рубцов. Избранное (М., 1982)^{ххх)}.

х) Если не считать еще двух, помеченных в ВИС той же датой — незначительного стих. "На строевом смотре" (публиковалось под загл. "На плацу") и "Долины детства" (П варианта "Долины юности", 1961).

хх) Впервые напечатано посмертно, в сб.: Н. Рубцов. Зеленые цветы, М, 1971.

ххх) В дальнейшем ссылки на эту книгу даются сокращенно: И-82.

Они как будто только родились!
Они — сыны запутанных дорог...
И вот стихи, написанные матом,
Ласкают слух отчаянным ребятам!
Пускай в гробу ворочается Блок!

...Поэт, как волк, напьется натошак,
И неподвижно, словно на портрете,
Все тяжелей сидит на табурете,
И все молчит, не двигаясь никак, И все молчит, не двигаясь
никак,

И перед ним, кому-то подражая
И суется, как все по городам,
Сидит и курит женщина чужая...
— Ах, почему вы курите, мадам!
Он говорит, что все уходит
прочь,
И всякий путь опдакивает ветер,
Что страшный бред, похожий
на медведя,
Его опять преследовал всю
ночь.

Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей...
Но все равно опутан я всерьез. Но все они опутаны всерьез
Какой-то общей нервною системой,
Случайный крик, раздавшийся над богомной,
Доводит всех до крика и до слез!

И думал я: "Какой же ты по
эт,
Когда среди бессмысленного
пира
Слышна все реже гаснущая
лира,
И странный шум ей слышится
в ответ?"...

И все торчит.
В дверях торчит сосед!
Торчат за ним разбуженные тетки!
Торчат слова!...
Торчит бутылка водки!

Торчит в окне таинственный рас- свет!
Торчит в окне безрадостный рассвет!

Опять стекло оконное в дожде, --
Опять удушьем тянет и ознобом... Опять туманом тянет и озно-
бом...

Когда толпа потянется за гробом,

Ведь кто-то скажет: "Он сгорел... в труде".

Сразу отмечу, что переработка стихотворения проведена на редкость последовательно, тщательно до мелочей: никаких "атавистических" черт во втором варианте не осталось.

Изменения начинаются с заглавия: первое предполагает сочувственное отношение автора к своему герою, его приятие, второе — взгляд со стороны, позицию наблюдателя (конечно, по-настоящему понимаешь это уже потом, сопоставив тексты).

Снимается посвящение. Надо сказать, что в данном случае автор поступил деликатно, — во втором стихотворении оно прозвучало бы личным выпадом. Ибо уже в третьей строке появляется "желтый свет в окне без занавески", а затем и "страшный бред, похожий на медведя", который "его опять преследовал всю ночь", — т.е. содержится недвусмысленный намек на "желтый дом" и белую горячку героя. Хорошенькое было бы посвящение!..

Велико значение четверостишия, начинающегося строкой "Куда меня, беднягу, занесло!" Здесь, продолжая линию, начатую заглавием, автор начисто отъединяет себя от своего героя и оценивает атмосферу, в которой тот пребывает, как "зло", а, значит, его-самого, как порождение "зла". Эта линия завершается произнесением ему (правда, мысленно) приговора: "И думал я: какой же ты поэт..." и т.д., а также злой насмешкой, исказившей первоначально сочувственный смысл последней полустроки стихотворения ("Он сгорел... в труде").

Четверостишием о "зле", проникнутым как бы стихийным ужасом, автор "заклеил" большой — в 20 строк — и весьма ем-

кий фрагмент. Была в нем вера в конечную победу героя над обстоятельствами — вера, скрепленная громогласной, романтически-страстной клятвой ("Но я клянусь любовью клятвой мира..."). Присутствовало в нем и глубокое понимание причин всей этой "глухой жизни в задворках и угаре" ("времена неласковые"; и потом, в финале: "опять удушьем тянет и ознобом..."). Здесь автор прямо обращался к герою, как бы смотря ему в глаза ("твоя освищенная лира"); теперь же — словно отводит взгляд, апеллируя к "третьей судьбе", к читателю. Наконец, звуча здесь — и это несмотря на весь трагизм происходящего — оптимистическая нота: герой — не один, с ним и сам автор, и "ребята". Во второй версии герой одинок — нет возле него "ребят", да и сам автор его покинул, а вместо них — одна лишь только "женщина чужая", курящая и кривляющаяся...

И правильно! Этот герой не может претендовать на авторское сочувствие! Перед нами опустошенный, изверившийся человек, потерявший смысл в своей работе ("Он говорит, что все уходит прочь..." и т.д.). Это допившийся до белой горячки алкоголик с непомерными претензиями, чей талант (да и был ли талант?! Теперь о нем — ни намека!) хиреет ("Слышна все реже гаснущая лира...").

Но подно, откуда он взялся? Ведь прототип остался все тот же! Ведь и во "В гостях" воспроизведена обстановка его жизни на Пушкинской, да и сам он по некоторым приметам узнаваем. Однако, в те "времена неласковые" он писал записки, циклами, книгами — лаконичные, емкие, будоражащие стихи, вызывавшие у Рубцова хорошую зависть и открытое восхищение. Мне приходится констатировать, что произошло тенденциозное искажение фактов. Произошла порою имеющая место в литературе метаморфоза: автор отрекся от того, чему (кому) прежде поклонялся, и стал ярким апологетом того, против чего прежде выступал.

Но когда это случилось? Когда было написано "В гостях"? Ясно, что одна и та же дата, — 9 июля 1962 г., стоящая под этими полярными по сути вещам, — чистый абсурд; не могли они быть написаны или даже только закончены в один день. Составитель И-82 ошибся, механически подставя под второе дату первого. Не узрел между ними разницы и

ошибся х). Не могла появиться "В гостях" еще и осенью 1962 г., когда Рубцов прислал мне из Москвы последний, лучший вариант "Поэта". Еще не время было. Я думаю, что оно возникло в 1964 г. К этому времени относится некий противовес ему — стих: "О чем шумят Друзья мои поэты...": там было о литературных противниках, здесь — о единомышленниках. Сюда пристроен кусок "Поэта", во "В гостях" оказавшийся лишним: "Они шумят, Они руками машут, Они как будто только родились!" жх)

Интересно, что "шумят" новые друзья поэта "в неутомимом доме допоздна" — в обстановке, отдаленно напоминающей ту прежнюю, в доме на Пушкинской, и, одновременно, новую, в Литинститутском общежитии.

О чем же они теперь шумят? В общем-то наивный, школьный спор: кто лучше (сильнее, талантливей) — Маяковский или Есенин. Впрочем, если приглядеться, не столь уж наивный: городской Маяковский или сельский Есенин. Теперь это различие и для Рубцова оказывается весьма существенным.

ГОРОД И ДЕРЕВНЯ

Когда я впервые прочел стихотворение "В гостях", меня особенно резанула строка "Т. суетись, как-все по городам". Когда у него возникает, откуда взялась эта острая неприязнь к городу? В Ленинграде ее и в помине не было, ни в разговорах, ни в стихах, — я бы сразу заметил.

Эта тема — одно из его первых московских приобретений. Наиболее яркое выражение получила она в стихотворении "Залышная колода", написанном вероятно в 1964 г. и отнесенном критикой к числу лучших произведений Рубцова.

Вчитаемся. Здесь действуют "четыре туза и четыре изысканных дам" горожане-из "молодых, но уже разжиревших людей". Характеристика дана им хлесткая, и я готов было присоединиться к автору в его негодовании, но мне мешает некоторая противоречивость образов. Почему-то герои "возятся долго

х) В. Кожинов тоже ошибочно настаивает на том, что это стихотворение написано в 1962 г.: "С Глебом Горбовским... между прочим, связаны написанные в 1962 г. яркие стихи Н. Рубцова — "В гостях" (с. 12); "в 1962 г. Рубцов пишет очень выразительные стихи "В гостях"... (с. 23).

жх) Датировав стих "О чем шумят..." (Май 1962) — 1964, составитель И-82, несомненно, учел, что этот кусок отн. к 1962 г.

с погрузкой какого-то хлама". Но — одно из двух: либо — "изысканные", либо — "сердились, гадя"! И кто они такие — перекушники? Фарцовщики? или просто горожане, внехавшие в отпуск на дачу? Нехватает здесь какой-то достоверной детали, чтобы все встало на свои места.

Вот они "завели" с автором "Как шарманку, Глухой разговор о хлебе, о ценах, о смысле какой-то проблемы...", т.е. разговор на вполне конкретные темы. Однако реагирует он на это почему-то раздраженно: "Терпеть не могу Разговоров на общие темы..." Но ведь и темы — не общие, и "разжиревших" не должен интересовать смысл проблемы... Тут, как говорится, или-или. И создается впечатление, что автор просто не в духе от самого появления горожан, нарушивших его лирический настрой, — в это время он обозревал восход солнца. Обвинение остается голословным.

"Фальшивая колода" напечатана в первом сборнике Рубцова — "Лирика" (Архангельск, 1965). А за несколько страниц до нее помещено стихотворение "На сенокосе" (1964). В нем тоже разговоры-разговаривают, но уже сельские "мужики", которые "лежат, Блаженствуя, И в небеса пускают дым! Они толкуют о политике, о новостях, о том о сем, Не критикуют ради критики, А мудро судят обо всем". Вроде бы ничего особенного, — говорят — и пусть себе говорят. Но от соседства с "тузами" и "изысканными дамами" (какой картех!) возникает контраст: тут — "мудро судят обо всем", там — "разговоры на общие темы".

Отмечу, что откровенно антигородских стихов у Рубцова не так уж много (критики-аполлогеты хотели бы побольше и приписали к ним лирическое, изображающее очередное любовное разочарование стихотворение "Не пришла", 1962, где дурная погода попросту аккомпанирует любовным переживаниям героя). Такие мотивы мелькали на первых порах в Москве, почему-то понадобившись Рубцову для утверждения вскоре ставшей у него одной из основных сельской темы.

"ЛЮБЛЮ Я ДЕРЕВНЮ НИКОЛУ..."

Прежде чем говорить о собственно сельской теме у Рубцова, необходимы некоторые уточнения. Сначала приведу несколько цитат. В. Кожин в своей книге пишет: "К собственно "деревенской" теме Николай Рубцов по-настоящему обратился лишь в Москве, после поступления в Литературный институт. Поэт и в самом деле на какое-то время "забыл" деревню, из которой он вышел... Шести (?? - Э.Ш.) ... годам собственно литературной деятельности Николая Рубцова предшествовало не меньшее количество лет активной работы над стихами, которые почти совершенно не связаны с деревней" (с. 23, 24). В другой работе критик уточняет эту мысль: "Самые ранние стихи поэта ближе к его зрелой лирике, чем к стихам 1957-1962 годов..."; "достигнув зрелости, Николай Рубцов как бы вернулся - разумеется, на более высоком уровне -- к тому, с чего он начал... В 1957-году... поэт отходит от своего "природного" слога. И его стихи вплоть до 1962 года резко отличаются от позднейших, зрелых стихотворений, которые мы воспринимаем как собственно "рубцовские" (предисловие к кн.: Н. Рубцов. Стихотворения (1953-1971), М., 1977).

Это построение напоминает мне железобетонную конструкцию, обладающую громадным запасом прочности, но, увы, к Рубцову не имеющую никакого отношения. В действительности, из по меньшей мере восьмидесяти стихотворений, созданных с 1953 по 1962 год, собственно сельской теме посвящено по меньшей мере 21 х). Таким образом, тема эта не только не прерывалась, но была и до переезда в Москву одной из ведущих.

х) Чтобы не быть голословным, перечислю эти стихи: 1953 - "Деревенские ночи"; 1955 - "Первый снег"; 1957 - "Берева", "Экспромт" ("Не подберу сейчас такого слова..."), "О собаках", "Воспоминание"; 1959 - "На родине", "Праздник в поселке", "Встреча"; 1960 - "Лесной куторок" ("Добрый Филия"), "Разлад", "Я забыл, как лошадь запрягают...", "Старый конь", "На перевозе"; 1961 - ~~Импрессионизм~~, "Видения в долине", "Мой чинный двор зажат в забор...", 1962 - "Репортаж", "Долина детства" ("Ось"), "Праздник в деревне" ("На гуляние"), "Расплата" (сельский колорит присутствовал в первом, известном по рукописи варианте; в сокращенном, опубликованном позже, он изменен на городской), "Пора любви среди полей..."

Так что же эта конструкция — результат ошибки критика? Нет конечно. Но зачем ему понадобилось перечеркивать яркий ленинградский период? За "тесную связь" Рубцова с "порой эстрадой" — отвечает В. Кожин (там же). Так нужно было критику для придания послеленинградской поэзии Рубцова большей "чистоты". Ведь Рубцов был "взят на вооружение", провозглашен (правда, уже посмертно) лидером "тихих" лириков, а затем вообще лучшим поэтом последних десятилетий. Следовательно, по логике критика он должен быть тщательно очищен от всяческой "скверны". А такой скверной для "чистых" ("тихих", "деревенщиков") является являние с "нечистыми" ("громкими", "эстрадными"). За теоретизированиями В. Кожина стоит многолетняя борьба "тихих" и "громких" ("чистых" и "нечистых"), — борьба, надо сказать, куда более ожесточенная, шумная, как это ни парадоксально, со стороны "тихих", не раз хоронивших противников. (Тихие, а палец им в рот не клади!).

Следуя своей логике, В. Кожин идет дальше. "Эти стихи (т.е. "сугубо "ранние", домосковские. — Э.Ш.) — пишет он, — на мой взгляд, не должны, за редкими исключениями, входить в основной состав книг Николая Рубцова, в его "Избранное" (В. Кожин, с. 40). И едва он произнес эти слова, как идея издания Рубцова в "очищенном" виде была осуществлена на практике. Произошло это в одной из наиболее полных среди посмертно изданных его книг — сборнике "Подорожники" (М, "Молодая гвардия", 1976. 302 с., тир. 100 тыс. экз.; составитель и автор предисловия В. Коротаев). Стихи здесь разбиты на два раздела. В первый, основной включены произведения 1962-1971 гг.; стихи 1953-1962 гг., составившие раздел "Из ранних стихов", — задвинуты в конец. Эта "расфасовка по сортам" сопровождается весьма значительной путаницей: по меньшей мере 18 стихотворений, написанных до Москвы, отнесено к первому разделу, в то время как 6 поздних — ко второму.

С переездом в Москву все в его стихах — и содержание, и форма — внезапно резко изменилось. Прежде широкий и все расширявшийся, мир его стихов сузился до одной деревни и ее окрестностей.

Вот цифры. К первым двум годам этого периода, 1964 и

1965, можно отнести 36 стихотворений. Из них 24 (т.е. 2/3) посвящены темам деревни и сельской природы. В дальнейшем доля этой темы несколько уменьшилась, но если к ней прибавить стихи о маленьком провинциальном городе (вероятно, все — о Вологде), также сделавшимся (в противовес большому городу, Ленинграду) близким поэту, то можно сказать, что она, эта доля, до конца оставалась столь же высокой. Другие темы отходят на второй план либо вообще отмирают.

Примечательно, что дружественная поэту критика диаметрально противоположно оценивает эту, ведущую теперь у него тему: "Николай Рубцов — поэт деревни. Русской деревни — безапелляционно провозглашает С. Викулов (вступ. ст. в кн.: Н. Рубцов. Последний пароход, М., 1973, с. 8); "едва ли сколько-нибудь справедливо представление о Николае Рубцове как "изобразителе" и "певце" деревни и природы" — спорит с ним В. Кожин (с. 25).

Этот разноречив не случаен. Деревня в стихах Рубцова как бы присутствует, но в то же время ее почти нет. Поэт, действительно, много пишет о своей "малой" родине, неоднократно признается ей в любви, приметы которой тут же перечисляет: "Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи...", "Деревья, избы, лошади на лугу, Цветущий луг — везде о них тоскую", "О вид смиренный и родной! Березы, избы по буграм И отраженный глубиной, Как сон столетий, божий храм", "Сильнее бурь, сильнее всякой воли Любовь к твоим овинам у жнивья, Любовь к тебе, изба в лазурном поле" и т.д.

Отмечу, что все это — разработка мотива, прозвучавшего в самом первом стихотворении Рубцова, "Деревенские ночи" ("Все люблю без памяти в деревенском стане я. Будоражат сердце мне в сумерках полей Крики перепелок, ранних звезд мерцание, Ржанье стреноженных молодых коней") и продолженного в "Видениях в долине".

Часть в стихах уверения в неразрывности своей связи с "малой" родиной, клятвы в верности ей: "С каждой избой и тучей, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь", "За старинный плеск ее паромный, За ее пустынные стога Я готов безропотно и скромно Умереть от вистрала врага", "И эту грусть, и святость предних лет Я так лю-

бил во мгле родного края, Что я хотел упасть и умереть И обнимать ромашки, умирая" и т.д.

Многokrатны обращения — к "малой" ли родине, к России ли вообще, сопровождаемые восклицательной интонацией: "О сельские виды! О дивное счастье родиться в полях...", "Россия! Как грустно...", "Русь моя, люблю твои березы!", "Эх, Русь, Россия!", "О Русь — великий звездочет!", "Россия, Русь! Храни себя, храни..." (может быть этой последней строки, где слышится тревога, внутренняя боль, было бы достаточно?).

Иной раз он обращается к родине по совсем уже мизерному поводу: "Я счастлив, родина, — Грибов не счастье... Я счастлив, родина, Спасибо, родина. Всех ягод лучше — красная смородина..." ("В лесу") или "О Русь! Кого я здесь обидел? Не надо слушать злых старух..." ("Кого обидел?").

Вероятно, я утомил читателя обилием однородных цитат. Но я для того их выписал (к тому же далеко не все), чтобы, во-первых, продемонстрировать смысловую монотонность, и, во-вторых, напомнить элементарную истину, что риторичность не принадлежит к числу достоинств лирической поэзии. Но когда дело касается Рубцова, апологетическая критика во всем видит одни достоинства и способна все поставить с ног на голову в стремлении отыскать новизну. — "Как была чужда ему ложная стыдливость уместующих стихотворцев, — пишет В. Коротаев, — убеждающих себя и читателя, что они не говорят о любви к Родине потому, что любят истинно, а не на словах!.. Обычно этим прикрывается хроническая неспособность к любви" (вступ. ст. в кн.: Н. Рубцов. Подорожники, М, 1976, с. 6). Критик, вместо того, чтобы постараться втолковать читателю, в чем заключается ценность данного качества поэта, с неожиданной яростью и жемчужностью обрушивается на неких "уметствующих" и... навольно обнаруживает свою главную цель: использовать Рубцова в качестве стенобитного орудия в литературной борьбе. А тема эта — что ж, она действительно слишком часто употребляема в роли "паровозика", который исправно развозит по журналам и другим изданиям ^{бесчисленные} поэтические "вагончики".

В качестве совсем иного к ней отношения приведу строки из стихотворения уже упоминавшегося мною московского поэта

Александра Коренева: "Знаешь, родина, Неловко, Трудно Щего-
лять мне именем твоим. Воздух взять: О нем — ежеминутно Мы
не говорим, А дышим им" (1958).

Но даже и признав, что у Рубцова обращения к родине
пусть чрезмерно громки и слишком часты, но проникнуты исти-
ной страстью, что они бесхитростны и лишены конъюнктурности,
даже и тогда я ощущаю их недостаточность и хочу видеть под-
тверждения фактами, т.е. глубокого показа настоящей деревни.
Тем более что поэт так рвется к ней, — несколько стихотворе-
ний он посвящает описанию своего пути на родину, куда он
"словно летел из неволи" (т.е. из города... Э.Ш.). На отдых,
на хлеб с молоком..." ("На родину!"), куда он стремится все-
ми видами транспорта: "Я уйду на пароходе, Потом поеду на
подводе..." и т.д. ("Экспромт"). Как же велика должна быть
ответственность поэта перед самой этой темой после стольких
восклицаний и анонсов, с какой глубиной он должен теперь то
сказать о предмете своей любви, чтобы его слова не повисли
в воздухе, не остались пустыми словами. Тем паче, что дерев-
ня для него хороша не только сама по себе, но и является но-
сительницей "самого святого на земле" и этим свойством реши-
тельно предпочтена городу... (По мне-то, впрочем, странно
уже само это наивное предпочтение — и далеко не одним только
Рубцовым! — это возвеличение одного за счет умадения друго-
го; — и в городской, и в сельской жизни есть ведь свои свет-
лые и свои темные стороны).

И вот, когда мы наконец обращаемся к конкретному изо-
бражению у Рубцова живой деревенской жизни, то почти ее не
находим. Таких — весомых — примет больше оказывается в сти-
хах домосковских — "Загородил мой дорожку...", "На гуляние",
"Добрый Филия" и др. А из написанного за последний период,
за восемь лет, если не считать отдельных деталей, рассеянных
по разным стихотворениям, — сконцентрированно-сельскими яв-
ляются, пожалуй, всего три: перечисленное "Что вспомню я?",
содержащее взгляд со стороны "На сенокосе" и, по-моему, един-
ственное стихотворение, проникнутое глубоким, изнутри иду-
щим ощущением сельской жизни — "Русский огонек". Вот, пожа-
луй, и все.

И здесь я нахожу неожиданную поддержку со стороны С.Ви-

кулова — того самого С. Викулова, который — помните? — провозгласил Н. Рубцова "поэтом русской деревни". В другом месте он пишет: "Скажем прямо, настроения людей, картины быта не нашли столь же широкого и глубокого отражения в его стихах, как нашло в них отражение л и ч н о е" (разрядка его) ("Наш современник", 1981, № 2). Так С. Викулов сам себя опроверг.

Немного численно "население" "деревенских" стихов Рубцова. Это, главным образом, старики и старухи — прежде всего те, к которым он забредает переночевать во время длительных прогулок по окрестностям. Как правило, они чрезвычайно молчаливы, совсем как "добрый Филия" ("— Филия, что молчаливый? — А о чем говорить!"). Это старики, все думающие какую-то свою думу, целиком погруженные в себя, в прошлое, в нем одном живущие, старики, "что утратили будто речь" ("На ночлеге") или: "и долго на меня Она смотрела, как глухонемая..." ("Русский огонек").

Что ж, деревни безлюдны. И это вызывает у поэта естественную тревогу: "Вон то село, над коим вьются тучи, Оно село родимое и есть..." — Ми-то ведь, горожане, знаем о том лишь по выездам в отпуск, а больше — по прозе В. Шукшина, В. Распутина, Ф. Абрамова... (проникнутой, кстати сказать, такой глубиной болью, что невольно ищешь чего-то подобного и у Рубцова, ищешь и — не находишь). Но ведь жизнь там — еще есть? Проблемы — есть? Ничего, ну, скажем, почти ничего не обнаруживая об этом в "сельских" стихах Рубцова. Разве что, приходится повторно цитировать, — "мужики лежат, Блаженствуя, И в небеса пускают дым! Они толкуют о политике, О новостях, о том о сем..." Мужик из "Репортажа" (1962), кстати сказать, тоже был немногословен, но — по-иному: "К мужику микрофон подносят. Тянут слово из мужика..."

Один из сельских стариков советует поэту: " — А ты, — говорит, — полюб и жалей, И помни хотя бы родную окрестность, Вот (тот десяток холмов и полей..." ("Жар-птица"). И поэт соглашается с ним всецело и, согласившись, отрубает городскую, затем морскую и многие другие свои темы, вполне уже расцветшие или еще только рождавшиеся, и почти всецело концентрируется на "родимой окрестности". Именно на окрестности, потому что в самой деревне, как явствует из стихов, прочих привязанностей у него не создается, — он здесь не

свой, заезжий, гость.

Чем же он здесь занят? Он много гуляет. По полям и холмам, по лесам и болотам: "Топ да топ от кустика до кустика...", "Сапоги мои - скрип да скрип...", "Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...", "Я буду долго гнать велосипед...", "Я брожу, брожу по сельским Белым в сумраке холмам...". Оставаясь наедине с природой, он концентрируется на ней, углубляется в нее. И тогда в стихах начинает звучать новый мотив:

Много серой воды, ~~многие серые воды~~

много серого неба

И немного пологой родимой земли,

И немного огней вдоль по берегу...

("На реке Сухоне")

Бродя "по родному захолустью. В тощих северных лесах", он открывает для себя неяркую красоту русского севера и принимает ее. Болота и чахлые леса, проливные дожди и вьюги "невеселых наших мест", родной поэту вологодчины естественно оказываются ему ближе и милей южной пышности.

"Острова свод обогреваем", "Осенние этюды", "В осеннем лесу" и некоторые другие пейзажные стихи неярки, просты и глубоко искренни, в них господствуют приглушенные краски, голос поэта становится негромким и печальным. Слова порой приобретают особую пластичность:

Я так люблю осенний лес,

Над ним - сияние небес,

Что я хотел бы превратиться

Или в багряный тихий лист,

Иль в дождевой веселый свист,

Но, превратившись, возродиться

И возвратиться в отчий дом...

("В осеннем лесу")

Из времен года он предпочитает пасмурные, непогожие. Ему гораздо больше по душе осень (главным образом, поздняя) и зима, нежели весна и лето. Вот цифры: из стихов последнего периода (по сб. И-82) осени посвящено 25 стихотворений, зиме - 20, лету - 8, весне - всего одно. Таким образом, в

природе он выбирает грустное, печальное.

"О ПРЕЖНИХ ДНЯХ ЗАДУМАВШИСЬ СЛЕГКА..."

Видимо, у молчаливых своих стариков перенял Рубцов погруженность в прошлое, привычку все в нем видеть "в лучшем свете". И вот он целиком сосредотачивается на прошлом — конечно, не ради него самого, но затем, чтобы постичь, как "русский дух в веках произошел", т.е., вероятно, чтобы ощутить современность частью истории.

Мотив прошлого начинает звучать в стихах все чаще: "Красотой древнерусской Обновился городок...", "весь простор достославной веял стариной...", "И все брожу по старой русской горке, О прежних днях задумавшись слегка...", "Да как мне спать, когда из мрака Мне будто слышен глас веков..." и т.д.

"Я буду скакать по следам миновавших времен..." — такую цель он перед собой ставит, ибо жаждет проникнуть в прошлое, увидеть его. Он упорно ищет вокруг следы, приметы нестигнувшей, живой старины. А находит — в ее неприглядной реальности: разрушенной, умершей. "Но я нашел могильные кресты...", "Лежат развалины собора, Как будто спит былая Русь..." Находит забытые могилы, сельские погосты... Все это не будит воображения и лишь усугубляет грусть, печаль, скорбь. Взгляд всякий раз утыкается в развалины и не проникает за них. Чуда рождения живых образов не происходит. Упорное вглядывание в прошлое оказывается безрезультатным, — если не считать добытых им нескольких скудных, вторичных деталей ("То по холмам, как три богатыря, Еще порой проскачут верховые...", "...Гуляевская горка, Где веселились русские князья... Гуляла здесь прекрасная царица...", "Словно скачут на тройках гонцы..." — кстати, гонцы, как правило, скакали верхом).

Эти поиски, это хождение "по следам давно усопших душ" становятся столь упорны, столь напряжены, что порой заводят его в какое-то лишенное воздуха пространство, в полувывузданное, полубред: "Мне странно кажется, что я Среди отжившего, минувшего, Как бы в каюте корабля, Бог весть когда и затонувшего... Реальный звук, реальный свет Едва доходит до сознания".

Здесь у Рубцова происходит примерно то же, что и с те-

мой деревни: страстное, высказанное во множестве деклараций желание войти в толщу темн, глубоко копнуть, добыть "минерал" — наталкивается на рубеж, который поэт не в силах (или почти не в силах) преодолеть. Это граница между рассказом о предмете и показом его. "Ведь чувства добрые лирой пробуждать — не значит просто говорить об этих чувствах, облекая их в общедоступные формулировки. Не называть, а вызывать формирующие душу эмоции — задача поэзии" (Вл. Новиков. Труд слова. — "Новый мир", 1984, № 4, с. 254).

Историческое потому не входит органично в плоть его стихов, не растворяется в них, оставаясь лишь на поверхности, что поэт ощущал прошлое слишком общо, неконкретно: "Хочу запеть... о чем-то русском вообще..." Но это "вообще" способно приобрести силу, лишь когда исходит из ощущения множества частных. Рубцов не имел страсти к истории, того глубокого интереса к ней, переходящего в ее понимание, какой, к примеру, лежит в основе живых, оригинальных произведений — прозы и стихов — Виктора Сосноры.

"Исторические" стихи тогда могут быть хороши, когда автор обладает особым складом воображения, при котором исторические картины в его сознании оживают, наполняются движением, подробностями. Рубцов был лишен этого дара, он тяготел к современности. Можно сказать, что источником движения в его стихах являются увиденные детали окружающей жизни либо собственные переживания и воспоминания. Критика, между тем, придает чисто "историческим" стихам Рубцова большое значение. А их всего-то три. Наиболее удачным является написанное в Ленинграде стихотворение "Видения в долине" (1960). Оно целиком пронизано непосредственным авторским чувством, и исторические картины (Батый, битва на Куликовом поле, Отечественная война) естественно входят в него.

В стихотворении "Шумит Катунь" (1966) используется точно та же сюжетная схема: перед автором как бы проносятся злобные видения прошлого (скифы, Чингисхан), а в конце он опять словно очнувшись от "исторического", она, видит вокруг тишину и покой. Это всего лишь вариант предыдущего стихотворения.

В третьем, "О московском Кремле" (опубл. в 1968), привлекает внимание весьма любопытная трактовка образа Ивана Грозного:

Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.

Трактовка занимательная, но мучительно знакомая: от нее так и веет 2-м изданием БСЭ, точнее, 17-м томом, где дана столь же лестная оценка создателя "прогрессивного войска опричников", которое "сыграло большую роль в ликвидации..., искоренении... и укреплении...". Энциклопедия разоблачает "созданную в лагере боярско-княжеской оппозиции... версию о жестокости и необузданности его характера, якобы руководившими всеми его действиями...", оправдывая своего героя тем, что "отпечаток на характер И. IV наложили тяжелые обстоятельства личной жизни, обстановка ожесточенной и вероломной борьбы со стороны боярства". Точно так же рассуждает и поэт.

Образ, нарисованный энциклопедистом, не может не вызвать сочувствия, ибо, хотя "И. IV нанес смертельный удар своему сыну", однако же смерть его "тяжело переживал". Таков русский царь и у Рубцова, то есть настолько близок созданному в когда-то авторитетном издании, что можно утверждать: оно и явилось первоисточником стихотворения.

Итак, собственно историческая часть всех трех стихотворений не выходит за рамки школьного учебника и, в лучшем (?) случае, 2-го издания БСЭ.

Идеализация русской старины, как это видно уже на примере с Иваном Грозным, делается характерной для Рубцова. Причем его "старина" — это, как правило, некая старина вообще, вне времени, и ощущается она поэтом, в противовес реальности, погруженной в состояние тихой гармонической красоты: "И эту грусть, и святость прежних дней Я так любил во тьме родного края". В этой придуманной (конечно, не им первым) старине он черпает умиротворенность. Даже окружающий сельский пейзаж он начинает ощущать погруженным в атмосферу древности и от этого становящимся ему еще краше, еще милей: "весь простор, небесный и земной Дышал в оконце счастьем и покоем И достопадной веял стариной"; "По вечерам тепло и ясно, Как в те былые времена...". Для него теперь то хорошо, что старо, и хорошо потому, что ~~по-старинному~~ по-старинному тихо и благостно. Не случайно, что переделывая году в 1965-м "Видения

в долине" в "Видения на холме", он заменяет социальные, контрастные детали на приглушенные, пейзажные:

1961

/1965/

Люблю твою, Россия, старину,
твой огни, погосты и молитвы,
твой иконы, бунты бедноты,
и твой степной бунтарский свист
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя...
разбоя..

В другом стихотворении с горечью восклицает: "Какая жизнь отликовала, Отгоревала, отошла!"

И тут нельзя не заметить, что поэт приходит к славянофильству. Для его стихов становятся органичны многие идейные параметры этого течения (разумеется, с поправкой на наш век): признание патриархальной гармоничности сельской жизни жизненным идеалом; кротость, смиренность, задумчивость, якобы присущие сельским жителям; ощущение прошлого как утраченного "золотого века". Славянофилы (Хомяков, Киреевский, Самарин, братья Аксаковы) противопоставляли идеальную (т.е. патриархальную, цельную) ими сочиненную Россию - реальной Западной Европе; Рубцов противопоставляет Русь, придуманную им, реальному (шумному, суетливому - "и суетясь, как все по городам", порвавшему с традициями и потому лишившемуся души) большому городу.

Для славянофильства, как известно, характерно триединство: глубокий патриотизм, глубокое почтение к традициям, старине и глубокая религиозность. Первые два компонента у Рубцова проявлены отчетливо. Но можно различить и черты третьего.

Несомненно, глубокой религиозности Рубцов не достиг (не успел достичь?). Но полурелигиозность порой присутствует в стихах, а если учесть время написания стихотворений с подобными мотивами, то можно увидеть путь к религии.

Стихотворение "О московском Кремле" кончается своего рода молитвой:

И я молюсь, о русская земля!
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звонь...

Во-первых, здесь есть двойственность: молюсь — не на иконы, но — на звон Кремля, т.е. на церковные звонницы. Значит все-таки: молюсь на церковь. Но вторая строка здесь, несомненно, вынужденная, — чтобы "прошло". Ведь в "Видениях в долине", для печати не предназначавшихся, было противоположное:

Люблю... твои... молитвы, твои иконы...

Молитвенные интонации слышны и в других стихах.

В горячей любви Рубцова ко всему древнерусскому немало важную ~~часть~~ часть составляют церкви ("И храм старины, удивительный, белоколонный, Пропал, как виденье, меж этих померкших полей", "О вид смиренный и простой! Березы, избы по буграм И отраженный глубиной, Как сон столетий, божий храм" и т.д.). Они для него являются средоточием не только архитектурных красот, но и святости.

Для него и природа нередко — храм: "О дивное счастье родиться В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!" В природе-храме, погруженный в тихое созерцание, возводя очи горе, он ищет там, в небесном куполе, утешение и — обретает его: "И льется в душу свет с небес...", "Когда душе моей Соидет успокоенье С высоких, после гроз, Немеркнувших небес...", "Светлый покой опустился с небес И посетил мою душу!"

Мне могут возразить, что это натяжка, что просто-напросто в своем благословении перед "сельскими видами" поэт испытывал чувства, аналогичные религиозным, но абсолютно чуждые им по своей природе. Но вот: "Промчалась твоя пора!" (название стихотворения) — вздыхает он о насхе "под синим небом С колоколами и сладким хлебом...", тоскует о ней, ибо "ее отвергнутый фанатизм, — несомненно, что это инородное здесь слово — "затычка" для печати, — увлек с собою и красоту...". А уже в самом конце жизни, в отчаяние ("Как же так — скажи на милость! — В наши годы, милый гость, Все прошло и прокатилось, Прелетело, пронеслось?") — задает сакраментальный вопрос: "Взгляд блуждает по иконам... Неужели бога нет?" ("Гость", б.д.).

Религиозное чувство в нем росло, подспудно накапливалось и порой прорывалось, как, например, в сильном и своем

многозначительностью, и поэтической крепостью стихотворения "Во время грозы":

А туча шла, гора горой! -
Кричал пастух, металось стадо,
И только церковь под горой
Молчала набожно и свято.

Молчал, задумавшись, и я,
Привычным взглядом созерцая
Зловещий праздник бытия,
Смятенный вид родного края.

Здесь церковь — одна — своею-сутью — набожностью и святостью, а вовсе не архитектурными достоинствами, — противостоит всему окружающему хаосу. И "стрелы молний" в финале воспринимаются как стрелы, коие мечет на землю разгневанный Всевышний.

Мое предположение подтверждается высказываниями сочувствующих критиков: "От "звезды полей", от красоты родной земли он шел к виффлеемской звезде, к нравственным ценностям..." — отмечает один из них ("День поэзии. 1972". М., 1973, с. 181), а другой подхватывает эту формулировку как эстафету, и дважды в своих работах цитирует ее, словно двумя руками подписываясь под ней.

Итак, славянофильство было воспринято Рубцовым, вошло в плоть его стихов, переформировало их основу. Не думаю, впрочем, что это случилось в результате глубокого постижения. Дело, очевидно, обстоит куда проще — Рубцов вошел (или был втянут) в литературную среду, где славянофильские идеи, несколько очищенные от пыли и паутины, уже были в ходу и в моде, он просто-напросто присоединился. Своим оригинальным талантом, своей одержимостью поэзией, а, главное, некоторыми своими стихами он пришелся там ко двору, оказался ко времени и был активно поддержан печатанием (в "Октябре" Вс. Кочетова и "Нашем современнике" С. Викулова и В. Чалмаева), подбодрен и подтолкнут в определенном направлении восторженными отзывами. И он бодро пошел по этому пути.

Но когда, читая его стихи последнего периода, видишь, как часто он варьирует одну тему, кружит по ее окрестностям, повторяется и — никуда дальше не идет (об этом подробно бу-

дет сказано ниже), — начинаешь понимать, что он совершал насилия над собой, упорствовал в себе, чтобы не дай бог не потерять новонайденное амплуа.

Его Русь была совершенно нереальная, выдуманная целиком. Он сам всю ее такую в себе выстроил из отдельных отзвуков, отблесков, обломков. Не строил — по чужому чертежу, — была ведь уже такая за сто с лишним лет до того, однако, развалилась, обветшав, — и это ее обломки он использовал для своей постройки; но оказалось, что жить в ней — в такой Руси — по-настоящему нельзя: она не имела ни объема, ни помещений, — один фасад. Строить же по своему проекту, возводить по кирпичику — не стал, потому что подлинного интереса к поискам исторических кирпичиков не имел.

Трагедия, к которой Рубцов пришел в конце жизни (о том, что была — трагедия, вероятно, даже не догадываются его бывшие друзья — литераторы), заключалась в том, что он очутился в тупике, уткнулся в стену, окунулся в чуждую природе его таланта стихию и ничего, ну, скажем, почти ничего из нее не добыл. Его стихией — это он доказал лучшими своими стихами — была современность, и только в ней он мог существовать как поэт. х)